

Г.И. УСПЕНСКИЙ
(1840—1902)

Равнение «под-одно»
(из памятной книжки)

<...> Осенью прошлого года во всех почти поволжских губерниях оказался страшный неурожай: хлеб тотчас

после уборки достиг огромной цены, почти двух рублей за пуд, а спустя месяц стал дороже двух рублей. Печеный хлеб в Самаре, Саратове, этих житницах России, начал продаваться по небывалой цене — 4 и 5 коп. фунт. Неурожай и голод очевидны. Люди, принимающие близко к сердцу народное горе, писали корреспонденции в газеты, переполненные ужасающих подробностей: то вы читаете, что в такой-то деревне вдова-крестьянка повесилась от голода; то вам рассказывают о целых деревнях, голодающих сплошь. Корреспондент посещает жилища крестьян и в каждом из них находит истомленных, опухших людей, которые ничего не ели вторые и третьи сутки. Хлеб, присылаемый из голодных мест в редакции газет, потрясает своим ужасным видом. Появляются описания таких пищевых изобретений, от которых волос становится дыбом: один мужик на глазах корреспондента ел чуть не осиновое полено; веником он вымел амбар, в котором не было ничего, кроме куриного помету, прибавил туда лебеды, сена, осинового коры и всё сие, замесив, поставил в печь (которая очень часто бывает совершенно нетопленная, так как дров купить не на что). Но и этой пищи (!!), прибавляет корреспондент, едва ли хватает семейству, состоящему из семи душ. К описаниям таких ужасных съестных припасов, прибавлялось обыкновенно, что скот продан за бесценно; коровы продавались за один рубль и много два, жеребята двухлетние покупались за 50 коп., телята по гривеннику, а лошадей отдавали почти даром». Под впечатлением этих ужасов самый язык корреспонденции как бы озверинелся, так как о людях начали писать только как о голодных ртах; вместо слова «человек» стали писать «едок». В семье столько-то «едоков». Иногда писалось: «столько-то ртов». Одни

ужасы следовали за другими... А в то же время такие совершенно непреложные, неопровержимые факты, как «голод» и «неурожай», начали осложняться новым неожиданным и совершенно загадочным элементом, а именно: хлеб, который тотчас *после урожая* стоил 2 р. пуд, начал дешеветь. Что это значит? — вопрошает недоумевающий читатель. А между тем, что ни день, то цена хлеба ниже да ниже. В августе она была два рубля, в январе — около полутора, в феврале — еще меньше, а в марте — 90 коп. Что за чудо? Откуда такая благодать? В самое обыкновенное, более или менее урожайное время всегда хлеб дорожает к весне, потому что как бы его ни было много, а его съедят за зиму, к весне его останется меньше и цена ему будет дороже. Тут же происходит что-то невероятное. Хлеба *не могло* быть потому, что неурожай полный, видимый, ясный для всех и каждого. Опухшие мужики — не фантазия, а факт, удостоверенный сведущими и добросовестными людьми. Кроме того, из этого неурожая сравнительно самая большая часть собранного зерна куплена-таки иностранными торговцами и увезена за границу. Хлеба, стало быть, осталось в обращении ничтожная часть, да и из этой ничтожной части приобретено земствами голодающих мест тоже масса хлеба, крайне по размерам недостаточная для самого умеренного прокормления населения. Но хотя земство и не могло приобрести столько, сколько требовалось, все-таки оно приобрело столько, сколько было можно. Этот приобретенный земством хлеб должен быть съеден народом. Хлеба нет — очевидно, а хлеб все дешевле и дешевле... К маю месяцу, когда обыкновенно хлеб ужасно дорог, он оказывается по 60 коп. пуд, в июне — 70 коп. Что за чудеса? Откуда взялся хлеб? Если предположить, что его завезли из других урожайных мест, то не говоря уж

о затруднениях перевозки в распутицу, — затруднениях, прямо лежащих на цену хлеба и увеличивающих ее, весной *обыкновенно* везде хлеб дорожает, везде его мало, да, наконец, там, где хлеба было бы много, он, *наверное*, уж продан, по примеру прежних лет, на месте, — продан туда же и тем же лицам, как и прежде, — израсходован, как расходовался всегда. Во всяком случае если бы хлеб и оказался привозным, то цена ему никак не могла упасть, он не мог подешеветь никоим образом. Раз на такой огромной территории, как Россия, оказывается такое пустое, бесхлебное место, как голодающее Поволжье, какой бы где бы то ни был урожай, распределенный равномерно в урожайных и неурожайных местах, должен бы был *везде* повысить цену хлеба, так как его стало бы меньше даже и в урожайных местах, и, стало быть, везде хлеб должен был дорожать к весне, т. е. по мере того, как его съедают, а между тем подивитесь, хлеб начинает дешеветь и что ближе к весне, то больше, и притом где же? — в том самом месте, где осенью люди ели кору, где баба повесилась с голоду, где продавали ребят... А хлеб все дешевле и дешевле... И в конце концов недоумевающий читатель газет поражен таким известием, опубликованным в одном из весенних номеров любой газеты: «Крестьянин такой-то выехав на базар продавать хлеб, был несказанно изумлен, узнав, что цена хлеба упала с 2 руб. до 70 коп. за пуд. Возвратившись домой с непроданным хлебом, он затосковал и в ночь с такого-то числа на такое-то повесился в риге на вожжах, под самым переметом». Господи боже наш! — восклицает читатель, у которого все эти известия с самой осени ложились камнем на душу, — да что ж все это означает? То женщина вешается, потому что хлеб 2 рубля, то мужик вешается,

потому что он 70 коп. Что же будет, если вместо голода господь пошлет урожай, хлеб упадет в цене, спустится до 25 коп.? Если вешаются от дешевизны, как и от дороговизны, то при хорошем урожае должна развиваться сушая эпидемия самоубийства: начнут топиться, накладывать на себя руки... А урожай, как на грех, тут и есть. «Небывалые всходы!», Зерно дало 14 колосьев по 80 зерен!», С десятины получилось до 200 пуд. чистого хлеба!». Читаешь и не знаешь — радоваться или плакать. И действительно, несмотря на огромный, небывалый урожай, уже слышатся голоса: Едва ли крестьянин улучшит свое благосостояние... Дешевизна хлеба при дороговизне скотины... Самая плохая лошадь на Покровской ярмарке продавалась не менее ста рублей, теленок 12—15 руб., корова — 40—60 руб.» и т. д. Чувствуете вы, что в виде огромного урожая надвигается какая-то новая беда. «Буди воля твоя!» — говорите вы со вздохом и все-таки в конце не можете понять, откуда взялся хлеб, когда бьет неурожай, и почему этот таинственный хлеб начал дешеветь к весне вопреки всем вероятиям.

Это загадка номер первый.

Нетрудно нам отыскать и загадку номер второй и третий. Развертываем книжку журнала и читаем статью — «Санитарное состояние русской деревни». По словам автора, основанным на самых точных сведениях, доставленных земскими управами, смертность в наших деревнях, благодаря невозможным гигиеническим условиям, возросла за последнее десятилетие до огромных размеров. Цифры рождений и смертности, выведенные автором за десятилетний период времени, поистине поражающие. Например, в таком-то селении, за такой-то период времени число рождений было 133, а число умерших — 154, и так далее, целые страницы

ужасающих цифр. Умирает больше, чем рождается — дело очевидное и доказано автором до того неопровержимо, что, читая статьи, представляешь поле, усеянное костями, по которому медленно ходит становой, подобно Руслану, изумленный этими «мертвыми костями», — становой, недоумевающий, с кого же получать ему подати. Причиною такого опустошения выставляется дурное питание, а причиною дурного питания — недостаточность земельных наделов... Но, думаем, читатель, если причина — в малоземелье, то ведь по нашим общинным порядкам земля убылых душ разлагается на живущих. Страшна и ужасна такая ужасная смертность, но остающиеся в живых, получая больше земли после покойников, могут улучшить свое благосостояние хотя на время... Не тут-то было!

Вот другая статья — «Об отхожих промыслах!» — доказывает, что, и помимо смертности, малоземелье гонит народ из деревень... Массы брошенных земель встречаются повсюду. Избы с заколоченными окнами и воротами свидетельствуют, что человеку, поставленному в невозможность существования, оставалось одно — бросить все и уйти, куда глаза глядят... Затем, на основании сведений, доставленных земскими управами, приводится ряд цифр, из которых видно, что отхожие промыслы обезлюживают деревню хуже чем дифтерит, хуже чем смертность, непропорциональная рождаемости... Корень таких выселений из деревень лежит, по словам автора, в малоземелье, недостаточности наделов, не обеспечивающих самого элементарного пропитания. «Ведь остается же кому-нибудь земля-то, брошенная умершими и ушедшими в отхожий промысел? Кому ж она достается?» — ломает голову недоумевающий читатель и решительно теряет всякую способность

определенно ответить на вопрос, когда третья статья — «О переселении» — доказывает ему, на основании сведений, доставленных земскими управами, что опустошенная смертностью, дифтеритом, сибирскою язвой и отхожими промыслами деревня, — деревня с забитыми воротами и окнами, — высылает ежегодно целые толпы переселенцев. «Целыми вереницами, — пишет корреспондент, — тянутся через наш город переселенцы, направляясь в Сибирь, в Тобольскую губернию... Партия переселенцев в 300 человек при ста подводах проследовала через наш город...»

Эти известия являются наряду с известиями об опустошительной смертности и об отхожих промыслах. Смертность опустошает, отхожие промыслы опустошают, земель остается много пустых, — зачем же еще искать этих земель за тысячи верст? На этот раз оказывается, что переселяются от густоты... Как так? Люди мрут, как мухи, санитарные и гигиенические условия безбожны — и вдруг оказывается какая-то густота? Но густота налицо. Сведения, доставленные из достоверных источников, удостоверяют, что рождаемость превышает смертность: так, за десятилетний период времени в такой-то местности умерло 7 человек, а родилось 127 — в такой-то никто не умер, а народилось видимо-невидимо... В конце концов за десятилетний период времени густота населения увеличилась до такой степени, что на каждую действительную, а не ревизскую, душу нехватает и по 1/4 десятины во всех трех полях, и вот этот-то излишек населения, в полном смысле слова обреченный на голодную смерть дома, и ищет новых мест... откуда же, спрашивает читатель, нищих явилось сто подвод, на которых они проехали через город, как сообщает корреспондент? Если им самим нечем было

прокормиться, то как же могли они приобрести скотину, телеги и т.д.? Наконец, чтобы быть кое-как сытым в течение полугода, необходимого на дорогу до Тобольской или Томской губернии, и то необходимо иметь средства не маленькие... Но положим, что у них нет никаких средств, что они нищие, — какая же польза нищему тащиться за 3—4 тысячи верст, из знакомых мест в незнакомые? Ведь в Томской губернии если ему и дадут землю, то избу, лошадь и множество хозяйственных принадлежностей, необходимых для того, чтобы земля кормила человека, он должен купить. На что же, на какие средства он купит? Посмотрите вот на нищего, который у вас под окном просит милостыню, — много ли вы сделаете ему пользы, если возьмете его в том виде, как он есть, да на собственные средства перенесете куда-нибудь, тысяч за шесть верст, в самую благорастворенную природу, — много ли ему от этого будет лучше?..

Нет, думает читатель, есть и тут, в этом деле, что-то тайное, какая-то загадка... Конечно, смертность и убыль населения, а с другой стороны, прирост последнего, при малоземелье, имеют влияние, но... Но вот получается новый номер газеты, в котором сказано: «Через наш город проследовала партия переселенцев из ...ской губернии. В числе 30-ти семей, пробирающихся в Томскую губернию, находилось две семьи весьма зажиточных крестьян, а один из них имел на родине более 100 десятин собственной земли, пятнадцать голов рогатого скота, 10 лошадей. Имущество его ехало на шести подводах, причем лошади были собственностью крестьянина...» Итак, что же должен вывести из всего этого недоумевающий читатель? Народ мрет от малоземелья, но остающаяся после умерших земля не известно куда девается. Народ бросает землю — и опять

эта земля, брошенная, никому не приносит добра. Мрет, бросает, — стало быть, пустыня остается? — Нет, не пустыня, а, напротив, необыкновенная густота, — до такой степени необыкновенная густота, что на действительную душу приходится едва ли 1/4 десятины, чего недостаточно для прокормления даже в течение месяца... И вот массы этого бедного, нищего народа пускаются в путь за несколько тысяч верст на своих лошадях, на *своих* харчах, которых в течение 6 месяцев потребуется этим неимущим не менее как на 200 руб. на человека и скотину... Но мужика, переселяющегося от 100 десятин собственной земли, — читателю уж ровно нечем объяснить: ни смертность, ни прирост, ни малоземелье, ни дифтерит, ни кровавый понос, ни что другое, никакие цифры, хотя бы самые достоверные, — тут не помогают. Богач-мужик прет в неведомую даль вопреки всяких уверений и доказательств — и окончательно сбивает с толку читателя.

Таких загадок мы могли бы привести великое множество, если б и без того не чувствовали неудовольствия, которое должен испытать всякий человек, более или менее озабоченный народным делом, читая написанное нами. «Так что же, — слышится нам негодующий вопрос недовольного читателя, — неужели, — по-вашему, все, что пишется о народных несчастиях, вздор и чепуха? Неужели все это — пустые фразы и ложь? И, наконец, возможно ли издеваться над народными несчастиями, когда я сам, собственными глазами...», и т.д. Нет, отвечаю я, все что пишут о народных бедствиях, — все это сушая правда. Не только бывает то, что пишут, а ежедневно, ежеминутно в деревне случаются такие возмутительные вещи, которые могут привести нервного человека в содрогание, и крайне жаль, что такие вещи пишутся

только в экстренных случаях, выплывают на божий свет только в такие исключительные минуты, как всенародные бедствия вроде поголовного мора или поголовного неурожая. Все это — и подлинность малоземелья, и подлинность голодовок и подлинность необычайной смертности — я признаю; я признаю полную возможность самоубийств с голоду, признаю достоверность описанной корреспондентом невозможной пищи (наконец, я сам видел эту пищу, и помимо корреспондента); словом, все это я считаю совершенно верным, правильным, достойным сочувствия, гнева, скорби, помощи, — и все-таки чувствую, что во всем этом полчище ужасов есть еще что-то, что неприятно отравляет искренность скорби, искренность рыданий о народной массе... Есть в этой массе достовернейших бедствий какая-то черта, которая воспитывает во мне какие-то враждебные побуждения, рождает какие-то недобрые мысли относительно той же самой народной массы, которые мешают только любить, только верить... Почему-то, одновременно со скорбью, с желчным упреком интеллигенции (уж заодно с другим будем подразумевать под этим словом обыкновенное козлище отпущения — земство) — рождается желание какого-то инстинктивного движения кулаком в эту самую же народную массу... Чувствуется, что тут, в ней же есть какая-то неправда, язвы, червоточина... Начинают даже рисоваться такие «народные» морды, которым весьма бы желательна даже сибирская язва... <...>

Предположим, что лицо, желающее вести беседу о проклятых вопросах деревенской жизни, нашлось, что лицо это, искренно сочувствуя народу, проникнуто искреннейшим благоговением к «обиженному землевладению» и искреннейшим негодованием против

так называемой интеллигенции, — и вот между нами начинается разговор:

— Откуда, — вопрошает меня воображаемый собеседник, — взялся хлеб, когда был неурожай, и почему этот хлеб подешевел, вместо того чтобы подорожать?..

— Хлеб, милостивый государь, был там же и взялся оттуда же, где был и голод. В одних и тех же деревнях люди умирали с голоду, ели кору, пухли и т. д. — и в тех же самых деревнях были люди, которые не умирали с голоду, а напротив — поправлялись и толстели; в одних и тех же деревнях были люди, которые продавали лошадь за рубль серебром, — и были другие люди, которые её покупали за этот самый рубль и которые теперь продают ее назад за сорок и пятьдесят рублей

— При общинном землевладении? — с негодованием (как мне кажется) перебивает меня воображаемый собеседник.

И как мне ни трудно огорчить вопрошателя, но скрепя сердце, я говорю:

— При общинном... Увы, при общинном землевладении!

— В одних и тех же деревнях?

— В одних и тех же.

— А смертность?

— Точно то же и со смертностью: мрут больные, голодные, худородные, а отъевшиеся — здоровы и невредимы... Одни мрут, как мухи, а другие толстеют, как борова.

— В одних и тех же деревнях?

— В одних и тех же.

— И при общинном землевладении?

— При общинном...

Лицо воображаемого собеседника моего вспыхнуло яркою краской негодования... Он, как мне кажется, готов был отвернуться от меня, прекратить разговор; но оскорбление, которое нанес я ему своими ответами, до того взволновало его, что, отворачиваясь и негодуя, он гневно задает мне, так сказать «в упор», такой вопрос:

— Так вы что же... вы думаете, что хлеб был припрятан у одних в то время, когда другим нечего было есть?

Слово «припрятан», признаюсь, коробит меня. Я был бы очень доволен, если бы собеседник мой не произносил такого грубого слова, требующего от меня не менее грубого, жестокого ответа, но делать было нечего, и, собравшись с силами, я решаюсь произнести ужасное слово:

— Увы, — говорю я, содрогаясь, — припрятан.

Сказав это, я чувствую, что мороз пробежал у меня по коже. Я сам до такой степени потрясен этим словом, что едва я выговорил его, как у меня является непреодолимое желание «поправиться», сказать что-нибудь другое, помягче; но, вопреки усилиям, слышу хотя и сам не верю, что я опять, подобно ворону Эдгара Поэ, прокаркал:

— При-прятан!..

Опять хотел поправиться, — и опять прокаркал;

— Увы, припрятан! Увы...

— При общинном землевладении? — весь багровый от негодования, вопрошает воображаемый собеседник, видимо желая, чтоб я очувствовался, опомнился.

Но я, как бесчувственный истукан, не могу ни придумать, ни вымолвить чего-нибудь иного, кроме того же грубого ответа.

— При общинном землевладении, — говорю я и, чтобы хоть сколько-нибудь смягчить неприятное впечатление моей грубости, прибавляю: — Увы, увы, увы!

<...> Между тем сложность переживаемой народом минуты, — сложность, следовательно, лежащих на вас, образованном человеке, обязанностей (если вы хотите не даром есть хлеб), умалется и как-то обеспечивается, во-первых, слишком несоразмерными надеждами, возлагаемыми на общинное землевладение, и, во-вторых, слишком обесцвеченным представлением понятия «народ». В последнее время слово «народ» стало представляться такою же почти коллективной однородностью, как, например, «овес», или «сено», или «икра»... Народ — это что-то одномысленное, какая-то масса, где все частицы и во всем совершенно равны друг другу, одномысленны, одинаковы даже в нравственных побуждениях. Рассказывают, что миряне прибили мирянина, который помог вдове в то время, как все прочие его соседи не могли этого сделать. «Не смей делать добро, когда мы все не можем сделать того же!» Если это правда, то коллективная однородность деревни хуже аракчеевских казарм... Но нам кажется, что это неверно и что такое ни с чем несообразное равнение вытекает из слишком нерассудительного поклонения перед общинным землевладением, а главным образом пред ритуалом распределения общинных земель. Это распределение также сделалось предметом неумеренного идолопоклонения и неумеренных надежд.

<...> Я понимаю, что в жизни образованного человека бывают минуты отчаяния, когда он теряет голову, теряет веру и рад ухватиться «за что-нибудь», рад увидеть, что есть на свете что-нибудь справедливое, что можно влюбиться в какую-нибудь жердь, как памятник справедливейшего мирского поступка; но при всем том нельзя не видеть, что это неумеренное поклонение совершенству распределения земельных средств существования, — совершенству уравнивания источников

существования, якобы проникающего с неизменной последовательностью и во все другие общественные отношения деревенских людей, — беспрестанно ставит человека, желающего служить народу, в самое нелепое и бессмысленное положение. Например, голод, народ голоден, ему необходима помощь. Помощь распределяется согласно правильности распределения земли, — правильности, доведенной до совершенства. На деле же оказывается, что при таком-то совершенно правильном распределении помощь вся оказывается в руках богачей деревенских. <...> Да, наконец, самого поверхностного взгляда на современную деревню достаточно для того, чтобы не подводить «под одно» всех деревенских жителей и все деревенские мнения и желания. Основывать однородность деревенских интересов на общинном землевладении так же несправедливо, как если бы на основании общинного владения петербургским водопроводом, из которого вода равномерно распределена по всем жилищам, от дворца до лачуги за Нарвскою заставой, и притом совершенно одинаковая вода, то есть как во дворце, так и в лачуге вода эта одного цвета, свойства, вкуса, идет от одного и того же источника, по совершенно одинаковым трубам и распределяется каждому по надобности его, — если бы, повторяю, на одинаковости и правильности распределения воды я основал одинаковость целей, желаний, стремлений, хотя бы только до известной степени, между всеми тысячами людей, населяющих тысячи квартир с одинаково проведенною водой, или вздумал бы на основании того, что вода распределена между всеми на основании потребностей каждого, «сколько кому надо», — вздумал бы представить себе, что и средства обывателей распределяются так же равномерно и притом «сколько

кому надо», — то едва ли бы с моей стороны в этом не было ошибки. А между тем на основании общинного землевладения строятся именно такого рода фантазии, правильность и точность межевых отношений переносятся на отношения нравственные; равнение средств к жизни продолжается, совершенно произвольно, и в сфере нравственных отношений до того, что будто бы нельзя помочь вдове отдельно от «мира» и что «за такие дела» мир колотит благотворителя до полусмерти... Нет сомнения, у деревни есть общие интересы, — такие, которые сплачивают деревню и делают ее «как один человек». Но если народ единят вести и слухи о земле, нужда в земле, лугах и вообще потребности и заботы о *средствах* жизни, — если во имя таких потребностей он думает и поступает однородно, все как один, так ведь и Петербург восстанет весь, как один человек, если я запру водопровод, да и Москва возликует, — вся Москва, от дворца до Грачовки, — если я объявлю, что «будет водопровод»... И все-таки, делаясь в этих случаях как один человек, ни Петербург, ни Москва не спасают себя от тех общественных разъединений, которые существуют в них сию минуту. Деревенская жизнь вступает в совершенно *новый* фазис, становится в совершенно *новые* условия, под совершенно новые влияния и давления, для которых *не было прецедентов* никогда с основания Руси (например, железные дороги), — влияния и давления могущественнейшие, имеющие за собою прошлое ничуть не менее давнее, чем общинное землевладение, имеющее за собою страшную силу новизны, любопытства, соблазна, влияний и давлений, разлакомливающих личное чувство на личные удобства и блага. Возникают, благодаря этим влияниям и давлениям, совершенно новые явления,

явления огромного расстройств всего организма, а вы (я продолжаю обращаться к воображаемому собеседнику) упорно не желаете вникнуть во всю глубину этого расстройства, отворачиваетесь от них, отделяетесь от них небрежным выражением: «все кулаки!», — потому что вы якобы до такой степени «влюблены» в народ, что не можете переносить грубого с ним обращения... В межевых ямах и столбах (которые в действительности только одни остаются в полном вашем распоряжении, так как во всем прочем вы, как говорится, пикнуть не смеее) — вы видите и спасение, и блестящее будущее, и прочее, и прочее. Но межевые столбы были всегда, во все дни и годы русской жизни, а кроме их чего-чего не произошло в этой жизни! И помешали ли сии великолепные ямы какому бы то ни было злодейскому давлению? <...>

Успенский Г.И. Собр. соч. В 9 т.